

Яблоки в траве

1.

Пусть бы первое слово плюхнулось на страницу увесисто, но не тяжко, как Зина увесисто опускалась на пол, на круглую подушку собственного зада. Ее коротенькие босые ножки вытягивались и жмурились на солнечном квадрате, появлявшемся в центре моего подвала после полудня. Дни были длинные, и квадрат этот медленно отползал к стене, затем начинал карабкаться вверх, все быстрее, пока не умирал, едва успев коснуться потолка. По этим "солнечным часам" Зина распределяла свое рабочее время. Она не любила торопиться. Особенно в благостные часы, когда комната наливалась теплым светом, солнце полоскалось в алюминиевой миске, и на потолке ходило его беспокойное отражение. Зина с удовольствием топала по комнате, оставляя на пыльных нагретых досках коричневые мокрые следы, круглые и тупые, как следы медведя.

– У нас був такый пол, – щурилась Зина на некрашенные доски, как щурятся на бывшую собственность, успев за давностью лет привыкнуть к утрате. – От такый самый пол!

Давно уже она исчезла, потерялась в сумерках очужевого города – но и сейчас, стоит мне коснуться венником некрашенных досок мастерской – и я вспоминаю, что у Зины в доме был такой же пол. Что дом был большой, а отец Зины был главный начальник в Миргороде.

– Он у Мыгоход был хлавный начанык, мой папа!

Мыгоход... Как бы это изобразить ее невысокий козий голосок с резкой назидательной ноткой и першацим в горле украинским "г", которое служило Зине и вместо "р", и в других самых неожиданных случаях? Нет для него специальной буквы...

– Мни сэтха чилася на гимназий! Мни бхат був знаешь хто? Мни бхат був – читэль!

У Зины все строже сдвигались брови, все туже поджимались губы.

– Мни нэвэська была, – приберегала она для окончательного триумфа, – знаешь хто? Хуська! Халя!

И дышала победоносно. Затем мрачнела как-то сразу и с гневным достоинством добавляла:

– А мни была дэцька болесь! Нэ вехыш? Спхосы ув Фани!

– Ну почему же не верю? Я верю, Зина.

– Сэ хавно спхосы! – наступала Зина. – Шоб нэ думала, шо я бхэшеш!

Видно, кто-то подтрунивал над ней, изображая недоверие к рассказам о счастливой жизни в "Мыгоходе", где трава была "аж посюды" – и яблоки, которые валились на землю с громким стуком, приходилось долго искать, а русская невестка плела для Зины венки из лютиков, маков и васильков. Господи! И у кого же это хватало жестокости! У кого хватало глупости объяснять ей, что главный бухгалтер райисполкома не слишком уж большой начальник, а Миргород – просто большая дыра, в которой только и есть примечательного, что знаменитая лужа... Нет. Не верю, что такой нашелся. Ну там спросить, когда она собирается замуж, похвалить сверх меры дорогое старомодное пальто... Или медную брошь со стекляшками.

– Хэто мни дали от одын евхэйка, – с готовностью поясняла Зина каждому встречному, проявившему интерес к ее обновкам. И одобрительно добавляла: – Мучылася два годы, а тэпэх умэхла... На Подоле жила. Хадом дэ шнэдэхка. Болила, болила – и пфф!

Зина громко пукала губами и удивленно моргала, будто только что на ее глазах лопнул шарик.

– Вот. И пэхчатки мни дали. Бэз дыхка!

– Покажи-ка!

Царственная старуха Фаня Лазаревна хорошо разбиралась в вещах. Она деловито выворачивала варежку наизнанку и находила там какой-нибудь скрученный ярлычок с иностранными буквами.

– Ну вот! Я же сразу увидела! Такой пух!

Зина терпеливо ждала, сбоку кося прищуренным глазом на чернобурковый воротник старухино пальто. Приценивалась.

2.

Фаня Лазаревна уже не отходила от дома. Тяжко наваливаясь на перила, спускалась с высокого крыльца, покрывала гобеленовым ковриком колченогий "уличный" стул и водворялась на нем перед небогатым старинным фасадом пыльно-желтого цвета, в тени тополя, косо проросшего из-под крыльца. Сидела целый день, как полномочная представительница дома и каждого его окна, и в каждом окне занавески были накрахмалены ее способом, наливка бродила по ее рецепту, а столетник был прямым потомком того, что Фаня Лазаревна привезла когда-то с курорта, из Анапы. Сидела. В ожидании собеседника встречала и провожала взглядом вприпрыжку проносящиеся грузовики. Пугала прохожих ясными черными глазами и угольными бровями вразлет на полном обрюзгшем лице. Фаня Лазаревна до самой смерти оставалась красавицей. Она без раздражения принимала оценивающий взгляд Зины. Чего там... Знала: и пальто, и шарф полосатый китайский – сорок рублей переплатили спекулянтке! – все достанется Зине. И атласный, почти не ношенный халат, свисающий из-под пальто до самой земли, присыпанной первыми крупинками снега... Конечно, Зине. Не золовке же за то, что бросила их на произвол судьбы! А Зина... жалко ее, несчастную. Все-таки землячка, выросла на глазах. Такая была красивая девочка!

– Если бы вы знали, какой это был красивый ребенок! – обращалась Фаня Лазаревна к кому-нибудь из остановившихся поболтать соседей. – Вы бы не поверили! Не девочка, а кукла!

– Гай! – Зина отворачивалась, выражая своим лицом полное безразличие к похвалам. Даже некоторую досаду.

– Она из очень хорошей семьи! – продолжала Фаня Лазаревна, с грустной лаской глядя на Зину. – Отец был главный бухгалтер в райисполкоме.

Зина каменела от скромности.

– Мать не работала, но она была очень образованная женщина. Сестра училась в гимназии, моложе меня на два класса. А брат... тут и говорить нечего. Такой удачный парень... Правда, он хромал, но в него влюбилась самая красивая девушка в городе. Какая это была пара! Они все время ходили за ручку, как дети! Он преподавал математику и физику, а она – географию. Она освобождалась раньше, но всегда его ждала, чтобы вместе вернуться домой.

– Она была хуська! – ревниво спешила вставить Зина.

– Украинка, – покладисто уточняла Фаня Лазаревна.

– Кхаинка – хэто тоже хуська! – поучала Зина свысока.

Ей лучше знать. Это же ее невестка, а не Фани Лазаревны.

– Хона мни давала кхашэнэ яйцо. Такэ кхасывэ! Хона мни венки хобыла. На голову, – на секунду расцветала Зина и указывала на свой толстый крестьянский платок, повязанный поверх белой ситцевой косыночки. Голова крутилась в платке, как в коробке, оборачивалась к слушателям то носом, то невозможно длинным ухом с большущей серьгой из желтого стекла.

– Да-а... – вглядывалась в прошлое Фаня Лазаревна, окидывала Зину затуманенным взглядом, как милую реликвию. – Она с ней много возилась, Галя. У них почему-то не было своих детей.

– Не было дитэй, бо их немцы побилы! – обижалась за родню Зина и сварливо расходилась. – Мни усих немцы побилы! Папа побилы! Мама побилы! Бабушка стахэнька! Бхат побилы. И хуська нэвэська – тоже побилы! Халя! Сех жалко! Папа нэ жалко? Жалко. И

мама жалко! Сех жалко! Но Халя синее жалко! Папа побилы – бо он евхэй. Мама побилы – бо он евхэй. А Халя зачем побилы?! Га? – сурово допытывалась Зина у слушателей.

Всем было неловко: хотелось смеяться.

– Я нэ скажу за бхат! Бхат – евхэй! И мамыны сэстхы – евхэй... Их пхавыльно побилы, – все больше горячилась Зина. – А почему побилы нэвэська хуська?!

– Это такая трагедия! – Фаню Лазаревну тоже оскорблял неуместный юмористический оборот беседы. Ничего смешного тут не было. – Бедная женщина! Она ушла с ним по приказу. Пошла в гетто. А потом под расстрел. Вот так, за ручку... как они всегда ходили...

Фаня Лазаревна сжимала губы и легонько раскачивалась, чтобы удержать наворачнувшиеся слезы.

– Что же он не отослал ее? – досадовали слушатели; им больше не было смешно.

– Конечно, он ее уговаривал! И его родители умоляли ее уйти. Они ее любили... И людей просили, чтоб отговорили ее. Но она никого не слушала. Ее мать бежала за колонной и рвала на себе волосы... Несчастливая женщина! Наверное, думала: вот, погибла дочка из-за еврея, да еще хромого. Она и сразу не была в восторге от этого брака.

– Вот видишь, – укоризненно обращался к Зине Роман Петрович, старик с гладким, как у лилипута, лицом, занявший после инсульта постоянное место рядом с Фаней Лазаревной. – Видишь, какая у тебя хорошая невестка была! А ты не хочешь работать у русских. Моя Катя сколько раз просила, чтобы ты пришла ей помочь, а ты...

Фаня Лазаревна пыталась вставить слово, но он не давал, останавливал прикосновением трясущейся от тайного смеха руки.

– Что же это ты, Зина – националистка? Подвергаешь нас дискриминации, а?

– А ну тебе! – досадливо передергивала плечами Зина, будто к ней приставали с сальностями. И, пожалуй, была права: где-то в глубине этих шуточек таилась беспомощная и гаденькая стариковская чувственность. Фаня Лазаревна ничего такого не замечала, но спешила прервать разговор, пока Зина не раскипятится и не выложит Роману Петровичу, что он "духэнь".

– Иди, Зина, поднимись наверх, скажи Люсику, чтобы дал тебе апельсин и кусок бабки. Там рисовая бабка стоит в духовке.

Зина уже поднималась по лестнице и весть о том, что Роман Петрович – дурак, доверяла гудящей пустоте парадного. Останавливаясь на очередной площадке отдышаться, встряхивала головой, быстро потеющей в тепле под дубовым крестьянским платком. "Вот духак какой-то!". В последний раз она произносила это уже под дверь Фани Лазаревны, пухлой дверью, обитой настоящей светло-бежевой кожей, с гвоздями, глубоко вдавленными в мякоть. Как пупы.

Зина с удовлетворением отмечала, что дверь пора вымыть, хотя давно уже не любила мылить и обмывать эти выпуклости, истыканные ножичками и гвоздями. Она находила в них что-то неприличное. Фаня Лазаревна считала, что это "дело рук хулиганов". Но Зина знала каким-то непонятным образом, что гвоздиками тычет Люсик.

– От духак!

И Зина нажимала кнопку.

Люсик. Приветственная улыбочка выныривала бочком из-под его длинного неровного носа, щеки краснели под несбритым шелковистым пухом, седеющим пятнами.

– Фаня сказаны дай мни пыльсын и бабки с духовка.

Зина вешала пальто на спинку кухонного стула, садилась, распахивала свой тяжеленный платок, разворачивала парные концы косынки и привычным движением перекладывала все это на плечи с мокрой после бани головы.

Банный день имел свой особый ритуал. С утра Зина ехала к "шнедерке", и та ее стригла: собирала в кулак отросшие волосы и одним движением ножниц их отрезала. После чего Зина отправлялась в баню, а оттуда заходила к кому-нибудь, кто жил поближе – обсохнуть.

Долго сидела, не очень разговорчивая, блаженно ощущая на себе свежештопаннные чулки, просторные желтые трико, бирюзовую мужскую майку и пушистый незастиранный халат из байки. Она то и дело прилизывала волосы круглой гребенкой, так что прическа ее выглядела, как мужская стрижка. Но, подсыхая, волосы на затылке трогательно поднимались торчком наподобие одуванчика.

Люсик никогда не оставлял без внимания столь значительное событие.

– Что, в бане была?

Зина не удостоивала его ответом.

– У тебя же дома ванна.

– Хэты нэ моя! Хэты ванна соседыв.

Разговоры раздражали Зину, но она не торопила Люсика. С подчеркнутым безразличием следила за неуклюжими действиями перестарка. Как он распахнул духовку, а сам полез в тумбочку доставать ее, Зинину, специальную посуду. Хорошо хоть не забыл, где она лежит. И Зина на всякий случай напоминала ему, зачем это делается.

– Мни надо давать отдельный тахэлка. Бо у мни хлысты.

Тон был наставительный: тебя, мол, дурака, учить и учить!

Впрочем, Зина и в других домах любила поговорить на эту тему. В каждой семье держали для нее специальную посуду. У нас это были серая эмалированная тарелка и кружечка с птичкой. После визита Зины и тарелку, и кружечку подолгу вываривали, но и много лет спустя не употребляли для еды.

Тарелка существует и поныне, в нее наливают кипяток, когда ставят горчичники. И стоит мне опустить желтую бумажку в горячую воду – я сразу вспоминаю, что у Зины были глисты просто-таки необыкновенные!

– От таки о! – Зина по-рыбацки разводила руки. – А товсты-ы!.. О! От як гэтый палэць! Нэ вежышь? – азартно допытывалась она. – Спхосы ув Фани, как они мни лезалы с хота! Уэ-э... – она добавляла несколько характерных движений для большего правдоподобия и заглядывала в лица слушателей, восхищаясь произведенным эффектом. Ради Люсика она не старалась. Знала о нем кое-что... Ела себе бабку с треснутой кузнецовской тарелки и запивала чаем из японской чашечки с отбитой ручкой. Ела строго, крепко сжимая вытянутые трубочкой губы. Жевала передними зубами, чуть кумкая протезом. Протезом она гордилась не меньше, чем глистами.

А Люсик громко сербал. На его чашке был нарисован Кремль, и таких чашек было в доме очень много.

– Мни нэ можно давать Кхэмль! – уточняла Зина, поглядывая на яркую чашечку Люсика. – Тогда всим будут хлысты!

Этого Зина не желала даже Люсику.

– Ты что протезами стучишь! – пытался заигрывать с ней Люсик. – Они у тебя на пол не выпадут?

– Нэ твое дило, – коротко, но с напором отбривала Зина неуместные шуточки.

Отец его тоже шутил. Но то было совсем другое. То было давно. Когда Фаня ходила по дому в нарядных платьях с широкими плечами, а Исаак – в военной форме, высокий, пышноволосый, с вгоняющим в краску взглядом голубых близко посаженных глаз. Таких же, как у Люсика.

Зина помнила, каким старик был раньше, до того, как начал плакать. От его шуток она всегда хихикала и ерзала на табуретке.

"Ну-ка, честно признавайся: ты не беременная? Ты нам тут сейчас ляльку не обронишь?" – "Та ну вас!" И рьяно хваталась что-нибудь скоблить и драить. Кому же не приятно внимание красивого мужчины!

3.

В те годы она всегда была беременна и никогда не знала, скоро ли ей рожать. Беременность почти не отражалась на ее внешнем виде. Вся эта коротенькая фигурка состояла исключительно из атрибутов женственности. Никаких там боков, спины: зад начинался прямо под мышками и необъятно пышел книзу, узенькие плечи были совершенно круглые и как бы держащиеся без помощи костей. Плечи очень ловко перетекали в две увесистые груди, из-под которых вываливался вздутый живот. И все это выглядело замечательно ладно. Несмотря на тоненькую шейку, делавшую ее похожей на туго завязанный мешочек, несмотря на коротенькие пузырчатые ножки, на которых она шустро ковыляла, не удосуживаясь их сгибать, – видно, от привычки ходить в валенках, которые всегда приходились ей выше колен.

Этот маленький детородный комплекс раз в году разводил свои негнущиеся ножки и легко выдавливал из себя младенца, который тут же исчезал в неизвестности, как исчезал выделившийся на минуту из человеческой безликой толчеи его отец.

Зина находила их в городском транспорте. Должно быть, притиснутый в троллейбусной давке к этому уютному куску пованивающей укусом плоти, мужчина тут же ощущал ее нетерпеливый трепет, замечал горячую краску, заливающую ее смешное личико – смесь просьбы и отказа, и заведомого знания, что и как будет.

Где и как это происходило: в парадных? за кустами? на заброшенной стройке? Кому доставался этот нежданный подарок? Опустившемуся алкоголику... солдатику в увольнительной... порядочному семьянину с диссертацией в портфеле... Трудно сказать, ибо знали об этом только от самой Зины, а она судила об общественном положении своего сообщника исключительно по головному убору. Где-то ходят-бродят по земле взрослые люди: дети Зины и мятой кепки, дети Зины и велюровой шляпы. А один – так и вовсе от генеральской папахи... Человек десять, а, может, и больше – с того дня, как муж бросил Зину, и до того, как сестра ее додумалась попросить врачей... Живут себе и не ведают, сколько у них по миру братьев и сестер.

Братья и сестры! Оглянитесь, поищите глазами друг друга. В ваших лицах должно быть что-то общее. У женщины, которая вас родила, лоб был большой и просторный, сдавленный в висках, так что лицо напоминало корпус скрипки. Может, и стала бы с таким лбом умницей-разумницей, если бы не "дэцька болесь". Будем надеяться, что вы не унаследовали коротенькие молящие брови, ее нос – тонкий и длинный, с колючим кончиком и размашистыми запятыми ноздрей, а также подбородок, составляющий единую прямую линию с окладистыми щеками. Вот только – голубизна сияющих глаз... Впрочем, так же бессмысленно сияли ее стеклянные сережки. Но вы ошибетесь, если решите, что ваша мать – уродина. Я часто ее рисовала и могу сказать, что все это аккуратно вылеплено. Когда она бывала больна или обижена, глаза ее теряли свой обычный блеск, темнели, и мне казалось, что я угадываю в ее облике красоту первоначального замысла. Впрочем, тут, возможно, сказывалось влияние Фани Лазаревны, которая уверяла, что была Зина ослепительно красивым ребенком, вечно стояла у ворот, сложив на груди пухлые ручки и приветливо склонив набок кудрявую головку в венке из лютиков и ромашек – их плела для нее "русская невестка" Галя.

Так вот, если вы нашли в овале своего лица что-то от скрипки, если наружные уголки ваших глаз сильно оттянуты книзу, если у вас есть чудная и редкая привычка – удивляясь, вытягивать вперед губы, так что они образуют нечто, по форме напоминающее бинокль, – знайте: Галя – ваша тетка. Жена вашего дяди, хромого учителя, которого она так любила, что пошла с ним под расстрел, хотя могла бы еще жить и жить, потому что была украинкой. И уж она-то никогда бы не бросила маленькую Зину, которая стала дурочкой после "детской болезни". Менингит, наверное. А Фаня Лазаревна говорила: сглаз. Она, Галя, никогда не

допустила бы, чтобы Зина, та, бывшая куколка в веночке, спала у нее в коридоре на коротком даже для Зины сундуке, не плакала бы в райисполкоме, что Зина может принести в дом сифилис, как плакала собственная родная сестра Зины. Она не позволила бы Зине отдать в чужие руки новорожденных младенцев... Правда, большинству из вас не появиться бы тогда на свет. Да и вообще... разве вернешь этими разговорами Галю? И сестру, вашу родную тетку, можно понять: то, что не было сифилиса – это же просто чудо. В доме трое детей, комната – двадцать метров... А благодаря стараниям сестры Зина сама получила шестнадцать в коммуналке. Все вы родились до этого, а то бы она обязательно оставила себе одного... Она потом очень жалела, что так вышло. Когда стала старая. Но вряд ли такой вариант был бы для вас слишком удачным.

Впрочем, был еще один вариант. Это когда муж Фани Лазаревны стал плакать и заходить не в то парадное, а сама она перенесла первый инфаркт и оставила мечту о скромной пересидевшей девушке из бедной еврейской семьи. Никто не захотел Люсика даже впридачу к котиковой шубе, кольцу с бриллиантом и черной икре по воскресеньям. Фаня Лазаревна чувствовала, что день ото дня слабеет, и стала присматриваться к женщинам постарше, не имеющим жилья. Ближе всех оказалась Зина. Зина, правда, не могла бы распорядиться добром, которое Фаня Лазаревна и ее муж нажили ценой большого труда и вечного страха, но вполне способна была содержать в порядке квартиру и готовить жаркое. К тому же Зина по выкладкам Фани Лазаревны была снова беременна, и это очень устраивало Фаню Лазаревну. Новая идея прямо-таки окрылила бедную женщину. Когда-то, во время эвакуации, она видела первого ребенка Зины, плод ее кратковременного законного брака. Совершенно нормальная девочка. Она умерла от скарлатины. Фаня Лазаревна была уверена, что и этот ребенок родится вполне здоровым и нормальным. Такие дети всегда получаются удачными. А Фаня Лазаревна постарается обеспечить ему наилучшее воспитание, и если она продержится еще четырнадцать-пятнадцать лет, то сумеет передать родителей на попечение этого ребенка, а если...

Так вот, если бы Люсик не раскапризничался и не заявил, что Зина для него старая, был бы у кого-то из вас отчим, обрастающий шелковистой юношеской щетиной, с длинным недолепленным носом и мокрой красной нижней губой, обвисающей при разговоре напоподобие петли. И, надо сказать, далеко не такой глупый, как полагала ваша мать.

У вас была бы роскошная бабушка! Властная, но безгранично преданная и щедрая. У вас был бы дед, лысый и молчаливый, как привидение, моргающий из темной спальни глазами ночной птицы и топчущий босыми ногами потерянные кальсоны. Ах, да! И еще громадная и шумная родня в Одессе. Ездили бы туда в отпуск...

И всего этого вы лишились по милости незрелого Люсика, который тыкал гвоздиком в пухлую кожаную дверь и Зину, как гвоздиком, протыкал своим нечистым взглядом. Он лишил вас также печки с вмурованными у самого потолка золотыми червонцами с профилем бородатого царя. Но об этом уж точно можете не жалеть: червонцы никому не принесли удачи. Даже наоборот.

А вот материнской нежности в том, возможном прошлом я вам не гарантирую. На детей Зина умилялась, но как-то сторонилась их. Часто вспоминала свою умершую дочку, но это не была самостоятельная тема, она составляла одну из обвинительных речей против мужа. "Я была чесны девушки! Мни муж спохтыл! А я была чесны девушки! Он мни побхосал! На Самхаканди! Дочки умыхал – и он мни побхосал!"

Автобиография Зины состояла из шести-семи подобных отрывков. Их краткость возмещалась непрерывностью повторов. "Усэ муж виноватый. Хэто он мни спохтыл! А я! была! чесны девушки!" И умолкала на некоторое время. Дожевывала обиду, пока возила по полу тряпкой, возила легко, будто стоять согнувшись, развалистым задом кверху и головой вниз – самая для нее естественная поза. Не признавала никаких швабр. Сгибалась пополам, как тряпичная кукла – и, как отпущенная пружинка, разгибалась. Макала тряпку в таз, крепко выкручивала и с суровым напором продолжала: "Я была чесны девушки!! Мни спохтыл муж!" Может быть, ненависть к мужу помогала ей лучше выжать воду. Почему-то именно

половая тряпка заставляла ее вспоминать своего благоверного. На вопросы о подробностях она отвечала неопределенным движением носа.

И вот стоит мне окунуть в воду тряпку, а потом выкрутить ее – и я вспоминаю, что Зина была честная девушка. Стоит мне взяться вешать занавеси – вспоминаю, как любила Зину "русская невестка". Белое кружево шуршит от крахмала, и мне кажется, что я правильно представляю себе эту женщину, эту особенную и редкую разновидность украинской женской доброты.

Конечно, если хорошо поискать, всему можно найти объяснение, в том числе и самым неожиданным Зининым ассоциациям. Зина любила мыть окна. Совершенно не боялась высоты, несмотря на свою комп- лекцию. Забиралась на подоконник легко, как медвежонок, и оттуда командовала: "Нэсы новы вода! Дай дхугый газэта! Давай, нэсы занавеска!" И тут завязывалась цепочка: невестка – невеста – фата... Или просто Галя вешала когда-то занавески...

Или так: она заводит палку глубоко под диван, шарит по углам, вдоль плинтусов, наконец выгребает оттуда засохший каштан, давно пропавшую катушку шелковых ниток, сломанную запонку и, высвобождая нужное из мшистых ключев пыли, вспоминает о тщательно скрывавшихся тайнах Фани Лазаревны, о том, что Люсик был у нее вторым ребенком... "А пегвый в ний ходывся звех! Хон був досюды (до груди) собака. Вси нохи – шехсть! Хон умэх, – добавляла Зина со сложным выражением. – И мохды была, як собака! В нэи уси диты погани! – И свысока: – Люсик хэтый тоже... им надо было хопэхаций хэзать на пыска. А Фаня нэ давала!"

Можно предположить, что ее рассказы о первом ребенке – отзвук услышанных в детстве разговоров про "волчью пасть". А впрочем... Кто знает! То, что касалось Люсика, в точности соответствовало действительности. И всю жизнь мне вспоминать о неудачных детях Фани Лазаревны – стоит только протянуть руку за закатившимся карандашом или монеткой. "Кохошо, шо вин умэх! Пхавда? Тут – человек, а тут – собака. Он пхавыльно умэх! Если он нэ умэх, с него будэт се смеяться!"

Этот сюжет Зина повторяла не более трех раз подряд: мусор не мог долго оставаться среди комнаты, его полагалось собрать и вынести. И еще показать всем домашним, как много накопилось в квартире пыли и грязи. Зина очень гордилась зримыми результатами своего труда. Она заявлялась на кухню, где кто-нибудь как раз наспех обедал, и чуть ли не в тарелку совала охапку пыльной бумаги, сорванной с оконных рам, а то и какую-нибудь слизистую гадость на ноже, соскобленную в унитазе или под ванной. "Видишь, как я делаешь? Я сэ делаешь по-хозяйски!" Зина нуждалась в похвалах.

4.

К тому времени, когда мы въехали в дом на Богуславской, она была вполне еще крепенькая, но уже халтурила. Подолгу возилась с какой-нибудь ерундой, так что хозяйка не выдерживала и сама домывала, дочищала, вытряхивала под неревнивым надзором Зины. Оставаясь без присмотра, Зина подолгу отдыхала, сидя на полу. Посматривала в окно: скоро ли стемнеет. Брала она деньги не за выполненную работу, а за потраченное время. "Хо! Уже скохо ночь!" И кое-как домывала пол в передней. Переодевалась, чинно ужинала на кухне. Строго принимала от хозяйки заработанную пятерку или трешницу, заворачивала ее в платок и прятала глубоко на дно кошелки, под черный сарафан и рабочее белье. Там же хозяйка могла заметить и собственную ложечку. Или какую-нибудь бутылочку с остатком одеколona. Но из-за этого не стоило беспокоиться: после того, как Зина, долго вздыхая и кряхтя, натягивала стеганые валенки, заматывала платки, попадала в рукава пальто (очередной умершей еврейки) и застегивала растянутые петли, эта самая ложечка (или

половинка мыльницы, или ленточка от подарочных конфет) оказывалась на тумбочке у дверей или на полочке в ванной. А Зина прощалась с большим достоинством, довольная своей честностью. "Бувайтэ мни здохованьки! Я скохо будет заходить до Фани. Будэтэ Фане сказать за стихка". Даже если оплата ее разочаровывала. Она никогда не торговалась, так как знала, что ей легко можно найти замену.

В дом на Рейтарской к нам приходила Зоя. Здоровенная шумная баба, едва умещавшаяся в оконном проеме. Работала она быстрее – и брала не больше. Правда, Зоя ложечки так и не выкладывала. А воняло от них обеих – хоть нос затыкай! У Зои тоже была своя "история" – как она "жила с офицером". "Знаете, как живет холостяк: ни сесть некуда, ни положить что-то. А я нанесла со склада ящиков, составила один на один, марлей понакрывала, а сверху – зеркало, пару открыток, бутылочки с-под одеколona – совсем другой вид!"

Зоя тоже повторялась, но разве это сравнить с непрерывным стрекотом Зины! После каждого "рабочего" визита Зины папа обещал, что отныне сам будет мыть окна, натирать пол мастикой – что угодно! "А как же! – иронизировала мама. – Да ты на любое дежурство побежишь, лишь бы не помочь по дому! И мне не надо твоей помощи! Я за то и плачу человеку, чтобы не возиться!" – "Ты же отпахала день с ней наравне, а без нее бы все сделала в два раза быстрее!" – "Ничего подобного! – спорила мама. – Я бы с такой уборкой и за три дня не справилась. Она для меня – как буксир. Я знаю, что копаться нельзя, надо кончить до вечера. И вообще! Это – мицва..." – неловко произносила мама слово, перенятое у Фани Лазаревны. – "Если ты хочешь делать "а мыцвы" (насмешливо), подари ей пять рублей и позови Зою".

Но тут уж папа был неправ. Знал ведь, что Зина милостыню не берет. Одежду, белье от покойника, развалюху-тумбочку из покидаемого подвала. Но не деньги. Деньги она только зарабатывала. В то время, может быть, лучшее для нее время. (Кроме, конечно, Миргорода с его яблоками и венками). Зина тогда считала, что удача валит к ней со всех сторон, и непрерывно хвастала.

5.

Впервые я увидела ее в день своего возвращения из санатория, где провела почти год. За этот год новую квартиру отремонтировали и обжили. Я восхищенно разглядывала новый буфет, узоры на стенах комнат, маленьких, как коробочки. В комнатах было темновато из-за деревьев, подступающих к самым окнам, очень чисто, торжественно и тихо. И тут пришла Зина. Пришла в гости по случаю субботы. Она сидела боком к столу и говорила, она посматривала на меня, как свой посматривает на гостя, особенно заинтересованная моими костылями. "Почему йий там нэ спхавылы хэта нога?" – наконец не выдержала она. Мама вся напряглась и ответила: "Заболеть легко. А вылечиться – надо много времени" – "Ха-а... – Зина потянула кверху подбородок, собрала губы, понятливо покивала. – Навэхно, надо хэзать хопэхаций!"

Поскольку дело происходило в субботу, Зина не начала тогда же рассуждать о Люсике, и его пипке, и о ребенке с собачьими ногами. Все это она сообщила мне позднее. По субботам у нее были другие разговоры, по субботам полагались новости.

– Я на вэчэх пиду до шнэдэшка! Шнэдэшка шидэсят год!

– А-а! Вот в чем дело! То-то ты такая нарядная!

– Не. Я дхугэ плате буду девать.

Зина с подчеркнутым пренебрежением оглядела свой крепсатеновый черный балахон с богатой вышивкой вокруг выреза и наискось по юбке.

– А что? Красивое платье. Знаешь, сколько стоит этот материал?!

Зина окинула платье теплеющим взглядом.

– Хоно большое мни.

– Ну так пусть твоя "шнедерка" уберет в плечах.

Плечи с ватными подушечками и правда были слишком для Зины широки. Свисали чуть ли не до локтей – крепкая, видно, была женщина. Но прочим Зина ей не уступала: грудь туго натягивала вырез, и серебряная брошка с гранатами покоилась на положенном месте.

– Мэни ще лучше е! – все больше воодушевлялась Зина. – Хэто вмэхла одын евхэйка. Хона жила дэ Фхыда. Знаешь Фхыда? Шо до Фани ходы.

– Фрида умерла?!

– Та ни! – рассердилась на мамину непонятливость Зина. – Женчина. Евхэйка! Такой був здоховы! Нэ хаз нэ болил! Хоп! – и повмыхал! – заключила она радостно, будто показала удачный фокус.

– А брошку кто дал?

– Так была, – пренебрежительно кивнула на брошку Зина и осудила. – А пальто нэ давалы. Нычехо! Мни есь пальто! Мни сэ е. Мни е тхы новы подияныки. И тхы пхостынь! Вчеха купыла на вехмак. Мни сэ е! Мни Фаня сказала: надо бхать постель!

– Ты взяла деньги с книжки? – удивилась мама, и Зина впала в гнев:

– На бехкаса деньги бхать нэ можно! На бехкаса будет для стахось! Хто мни будэ давать для стахось, ха? Мни нету диты! – и все не могла остановиться. – Кому нэма деньги, той будет на постахэлый дом!

– Где же ты взяла деньги, чтобы купить постель? – вклинился папа, изображая удивление. – Это же целое приданое!

– Хэто мни дали пэнций! – выложила Зина, как козырную карту, и с удовольствием понаблюдала за произведенным впечатлением. – Хэто мни давалы валиднось! – разрешила она наконец наше недоумение, а потом еще уточнила вскользь, как о чем-то, в чем все равно не разобраться обычному человеку. – Мни одын женчина, евхэйка, ходил поликлиника, мни делали хазный комиссий: хэнген, с палец кхов. Мни тэпэх будэ девятнаты хублей мисяць!

– Не много, – огорчилась мама.

– Мни хватит, – обиделась Зина. – Мни схазу давал дви пэнций. Фаня сказал: надо бхать дом постель!

– А что это за женщина с тобой ходила?

– Я не знаешь, – покривилась Зина. – Я в ний нэ хаботал. Следучи пэнций я будэш бхать соби туфли.

Тут мама вспомнила:

– Зина, я же говорила тебе десять раз! Сходи к Юлии Павловне! У нее есть для тебя прекрасные туфли! Она их не может носить после перелома. Совсем новые! Из натуральной кожи! Ты не купишь таких!

Зина поджала губы, поджала у груди сложенные ручки, помолчала напряженно и, выждав положенное время, отчитала маму:

– Мни сэ есь! Я нэ хочешь бхать хуськи туфли!

– Но почему же?

– Вона мни потом будэ звать хаботать!

– Ну и что? – раскипятилась мама. – Помыла бы пол, помогла бы больному человеку. Это же не бесплатно – за деньги. Какая тебе разница, где работать?

– В хуський – нет, – категорически отрезала Зина и пошла наступать на маму. – Мни есь хабота! На кхесене я помогать шнэдэхкэ! На понеденык я иду до Хани. На сэхэду стихка в Мани. Хэта, шо сын ходит на ститут. На чэтвэх...

Зина сбилась, но не растерялась. Зачерпнула из кармана горсть скомканных записочек: "Читай".

Доверие было оказано мне. Я прочла: "В пятницу стирка у Шуры. Улица Богуславская, дом..." Это был наш адрес. Зину очень развеселило совпадение. "Ха! Бачиш? Твой адхэс! А

хэто куды?" – и приготовилась слушать. "Фрида Черноморская..." – "Не. Хэто надо выбхосать. – Скомкала записку и сердито сунула в другой карман. – Хэто Фхыда – быстро-быстро. Это поханый Фхыда. Я нэ будэш ходить до хэта Фхыда. Зина, быстхо! Зина, быстхо! – тоненько передразнила Зина. – Мни нэ надо Фхыда!"

– А знаешь, – сказал папа, когда Зина, наконец, ушла и мама взялась вываривать ее посуду. – У нее, наверное, скопилась уже порядочная сумма на книжке. Она работает практически каждый день. Питается у хозяев. Я уверен, что она у себя дома даже чай не пьет утром. Одежду она не покупает. Ей этих девятнадцати рублей хватит на все расходы.

6.

Папа был совершенно прав. Даже по субботам и в те редкие дни, когда у нее не было работы, Зина тоже не тратилась. Она ходила в гости, посещала знакомые дома, и там ее кормили: где завтраком, где обедом. За доброту свою хозяева выслушивали в течение двух-трех часов историю про шнедерку, которая пригласила Зину на свадьбу дочери. И даже оставила у себя ночевать, потому что было поздно. Зина не могла уснуть на непривычном месте, но притворялась, что крепко спит, чтобы не огорчать хозяев. "Я нахочно гхомко ххапел! – радовалась своему великодушию Зина. – Люды мни ставылы ночевать. Зина, тэби кохошо? Да, мни кохошо. Мни – кохошо! И ка-ак нахочно – ххапил!"

Вторая история – про то, как сестра Зины выдала свою дочку замуж за инженера, а Зину не позвала на свадьбу – по ритуалу шла вслед за первой. "А мни свадьбы нэ звал. Я сэ хавно нэ будэш ходыть хэта свадьба! Зять – иженэх. Но звать мни надо! Я – сэстха! Я подахык хотил бхать на взхак! Я сам нэ будэш ходыть на свадьбы до иженэх! Тэпэх мни нэма сэстха!"

– Мни бильше нэма сэстха!

– У кого же ты теперь держишь свою книжку? – поинтересовалась как-то мама, посвященная в тонкости Зинино финансового уклада.

– Хот! – и Зина гордо достала со дна кошелки свою сберкнижку, сдула с нее крошки, разгладила, но в руки никому не дала. – Я пхосыть кохоший человэх, хон мни пыше на бамажки. Я тилькы ставыш кхучок. Мни нэ надо таки сэстха! Мни люды делать бамажки! – и зарыла книжку обратно в сумку, в ее жилые уютные дебри. – Хэто мни на стахось! Я буду стахось, нэ может хаботать. А мни будэ... – И похлопала по боку сумки с хитрым, самодовольным видом. – Мни всэ е! Мни вчеха Фаня давал пальто и платок! Я нэ бхал! – Она покрыла выпуклые глазки тоненькими веками, с достоинством поджала губы: знаю, мол, порядок. – Хай сначала будэ помыхать! "Зина! Я нэ ходыш бильше на улица. Можно бхать пальто!" Нет. Я нэ бхать! А если она нэ будэш помыхать? Хай лучше будэ живая. Хай будэ здоровэньки! Мни есь новэ пальто!

– А кто это умер? – насторожилась мама.

– Нихто нэ умэх! – свысока уточнила Зина. – Хэто одын женчина, евхэйка, ехала на Зхаиль. Полны комныта ставил хазны вещи. Я нэ можешь всэ бхать. Хэты далеко йихать, четыхы ахтобусы.

– Где же это она живет?

– На Дахныцы.

– Так туда же метро идет прямо от твоего дома!

– Мни нэ може йихаты мэтхо! – оскорбилась Зина на такую мамину забывчивость. – Мни шнэдэхка казав: "Идем, Зина, идем, Зина! Хэто добно!" Я ходила. И мни лестницы ставылы!

– Да-да, я помню! – мама испугалась, что Зина заведется рассказывать, как ее снимали с эскалатора. – Просто жалко, что ты не взяла вещи. – Хорошие вещи были?

Зина уклончиво кивнула.

– Мни уси вещи нэ надо. Мни тхудно носить домой. Хона звать хуськи соседи – соседи всэ побхалы. Ничехо. Мни щэ хто-то будэш йихать – я будэш бхать. Пальто мни зымне е. Масызонэ е. Хай Фаня лучше будэш здохованьки! Мни щэ одын евхэйка будэш йихать на Зхайль.

Такой оптимизм всех очень растрогал. В то время рассчитывать на чей-то отъезд в Израиль было так же легкомысленно, как на выигрыш в лотерее.

7.

И действительно, с того дня и до того, как Фаня Лазаревна освободила свое пальто, прошло довольно много времени, но ни одна известная Зине еврейка в Израиль не уехала и советский свой гардероб Зине не передала. Это было тем более печально, что ей не досталось и законно ожидаемое бостоновое пальто с чернобуркой. Сестра Исаака Давидовича, мужа Фани Лазаревны, вызванная из Одессы телеграммой, явилась в этом пальто на похороны. А также в полосатом китайском шарфе покойницы. Зина даже плакать забыла при виде такой наглой несправедливости. Даже в гроб не заглянула: не могла оторвать взгляда от законного своего достояния, уплывающего на глазах у всего народа. И по дороге с кладбища еще надеялась, что кто-то вмешается. Поджимала обиженно губы... Но на нее не обращали внимания. Решались проблемы более серьезные. Племянники Фани Лазаревны по монументальной скорби теткой золовки сразу поняли, что ни о каких "знаках памяти" не может быть и речи, и поэтому спешили вместе с материальными ценностями оставить ей и все хлопоты, связанные с уходом за беспамятной тенью дяди, за вечно юным братцем Люстиком и запущенной квартирой. Что ж, деньги зарабатывал дядя, а они ему – никто, а раз никто – то и помощи ждать от них нечего. Для непосвященных это выглядело так: они по очереди нагибались к ней для поцелуя и с глубоким чувством говорили, что Циля – ее звали Циля – взвалила на себя тяжкий крест.

После похорон родственники распрощались у парадного, и Циля вернулась домой хозяйкой, а Люстик, с детства настроенный против тетки, – мелким диверсантом. Зина потащилась за ними и попила на кухне чаю с бутербродами. Она сидела тихо, удивляясь, почему квартира стала вдруг такой чужой, и ни разу не упомянула о глистах. Уже одетая, долго топталась в дверях, ждала чего-то, поглядывая на утраченную чернобурку. На лестнице черного хода Зина остановилась, чтобы потуже завязать платок, и там ее догнал Люстик. Глаза у него были все еще опухшие и красные от слез, но с ухмыляющейся губы готовилась капнуть злорадная слюнка.

– На, – сказал он, – бери быстро и тикай!

Зина без благодарности приняла из его рук рыхлый узел. Судя по весу, пальто там не было, а остальное ее не интересовало. Однако на пути к трамваю ее разобрало любопытство, она решила зайти к припадочной Фирке и там разглядеть свои обновки.

В узле оказался большой оренбургский платок (Зина с самой войны не видела его на Фане), две пары шелковых штанов с магазинными бирками, старая шерстяная кофта, платье с подпоротой талией, толстые пуховые варежки и тяжелые янтарные бусы, густо золотистые, будто вытащенные из алычового варенья. Так себе, конечно, но от Люстика и этого никто не ждал.

Фирка прикладывала к себе каждую вещь, вытащенную из узла, кривила перед зеркалом брезгливое от природы лицо. А Фиркина мать, слоистая и неподвижная, как древесный гриб, приросший к своему мятому диванчику, каждый раз повторяла: "Фирка молодая, Фирке все

идет!" Зину это очень волновало. Она даже отказалась было пить чай, но потом передумала: темнело, ей пора было ехать домой, а Цилиными бутербродами Зина не очень-то и наелась. Фирка тоже не отличалась особой щедростью, но тут вдруг размахнулась на яичницу из двух яиц. Зина решила: если Фирка попросит, она отдаст ей одну пару штанов.

– Ты где завтра работаешь? – поинтересовалась Фиркина мать.

Где? А Зина и забыла в хлопотах и разочарованиях прошедшего дня. И засуетилась.

– От кохошо! От кохошо, шо мни помныла! От мни голова – два уха! На! Читай!

Фирка стала разбираться в записочках.

– В четверг ты будешь делать стирку у Островских. В среду работаешь у Раи... (Зина кивала.) На тот понедельник идешь к Тамаре.

– Хэты не надо, – перебила Зина. – хэты я сэ хавно забудешь! Мни надо на завтха.

– На завтра... – Фиркино лицо совсем скривилось набок от старания. – На завтра ничего нет.

– Як хэто? – растерялась Зина. – На чеха – нэма! На завтха – нэма!

Она быстро задышала, засопела покрасневшим носом.

– На пхошлы неделя тхы хаз было нэма хабота. Усэ. Мыхать поха. Надо мыхать! Фаня помэхла, и мни надо помыхать! – и, наконец, заплакала. Впервые за день.

– На что тебе столько денег? – стала ее сварливо утешать Фирка. – Ты одна. Детей у тебя нету. Посидела бы пару дней дома, отдохнула!

– Мни нэ можно дыхать! – набросилась на Фирку Зина. – Мни нэма диты. Мни нэ надо было давать вси диты! Надо было один себе бхать! Шо мни будэ стахось? Постахэлый дом мни будэ!

– А что ты думаешь: в престарелом доме люди не живут? – не сдавалась Фирка. – На всем готовом! Сидят себе. Им кушать дают по часам! Телевизор показывают! А ты что? Бегаешь туда-сюда с одной хаты на другую. Гнешься целый день головой вниз!

– Мни есь свий дом! Мни е хабота! – гневалась Зина. – Мни на постахэлый дом лучше вмыхать. Мни там будэ заставыть вбыхать гохшок и гхазны пхостынь!

– А что страшного, если ты уберешь с-под калеки горшок?!

– Я нэ хочешь! – просохла от возмущения Зина. – И хоопче... – Она замолчала и со значением закивала головой, показывая, что главный аргумент оставляет при себе. Но Фирку этот невысказанный аргумент убедил.

– Ну хорошо, – сказала она. – Придешь ко мне в пятницу, я сниму белье. Рано еще, но пусть уже...

– Ладно. – Зина немедленно сдвинула брови с таким видом, будто ее долго упрашивали.

– Пхыду рано з утха. А завтха я посмотхыш до Цили. Може, стахыку уже гхазны постель.

И вспомнила.

– Жалко Фани. Пхавда? Лучше стахык мыхать! Знаешь чехо лучше? Бо ему голова – пф-ф...

И повертела пальцем у виска.

Фирка эту тему не поддержала. У нее у самой в молодости бывали приступы эпилепсии. А муж Фиркин так и вовсе в психбольнице лежал после войны, потому и женился на малограмотной.

Зина поняла свою оплошность, но виду не подала и стала степенно собирать в узел разбросанные вещи. Старуха провожала их печальным взглядом. Штанов у Зины не попросили, и она с облегчением сунула их в узел. Ей самой нужны штаны. Это когда еще кто-то умрет или уедет в Израиль! А ходить-то в чем-то надо? Не станет же Зина снимать деньги с книжки, обворовывать собственную старость ради Фирки. У Фирки есть муж. Хоть и старый, и согнутый пополам, а семью кормит. Бегаёт, как муравей, с ящиками на спине... Когда он умрет, Фирку будут кормить дети...

Выходя из Фиркиного парадного, Зина столкнулась со Фиркиным стариком. Она впервые увидела его без грузчицкого фартука и рабочей кепки.

– А-а, Зина, здравствуй! – прошелестел он своим сорванным голосом.

Зина чуть было не кивнула ему пренебрежительно, как поступали все Фиркины приятельницы, но вспомнила вдруг, что и он из хорошей семьи, и чинно поздоровалась:

– Дхасте вам!

– А я как раз хотел тебя видеть!

Зина пожевала польщенно.

– Ты, Зина, зайди как-нибудь в синагогу. Можешь даже завтра зайти. Я там поговорил. Они тебе дадут двадцать рублей.

Зина хотела расспросить поподробнее, но к старику подошел мужчина в большой меховой шапке, и Зина побоялась говорить при постороннем о синагоге и деньгах. Но старик ничуть не смутился и продолжал.

– Там есть такой Мойше. Толстый. Ты увидишь, он возле входа сидит. Скажешь: "Я от Жариновского" – и тут же стал объяснять подошедшему. – Это одна семья в Израиль уехала. (Зина подумала, что Фирка права: он действительно дурак. Чужому человеку сказать такое слово!) Зажиточные люди. Там большая сумма осталась, и они ее отдали в синагогу, для одиноких стариков.

– Какая же она старуха! – крикнул мужчина одобрительно, оглядывая Зину. – Пошла бы куда-то нянечкой или уборщицей. Зачем ей какая-то милостыня?!

– Мни была дэцька болесь! – отстояла свои права Зина. – Я нэ бхать дахым деньги! Мни есь хабота!

– Она у людей убирает, – уважительно прибавил старик.

– Послушайте! – обрадовался мужчина. – Мне вас бог послал! Мы на новую квартиру перебираемся, там страшная грязь! А у Доры – приступ за приступом!

– Дэ хэто?

– Гончаровка. Знаешь?

– Як туды йихать? Я нэ можэ йихать на мэтхо!

– Не можете – не надо! Приезжайте на автобусе. Отсюда доберетесь с двумя пересадками.

– Ей сюда еще час добираться, – пожалел Зину старик, – а метро она боится.

– Жалко, – развел руками мужчина. – А то бы я ей такую клиентуру сосватал! Из нашего главка семь человек получили квартиры на левобережье, но туда без метро не доберешься.

– Евхэи? – на всякий случай уточнила Зина.

– Какая разница? – удивился мужчина. – Украинцы, русские.

– В хуськи я нэ хобыш!

– Чего это?

– Нэ хобыш – и всэ! Мни будэ звать убыхать на субботы! Мни будэ сало давать!

– Господи! Не иди в субботу! Кто тебя заставляет? Не ешь сало!

– Нэ пиду – и всэ! – всем телом уперлась Зина, будто ее тащили в метро.

– Так ты далеко не уедешь. Где ж тебе столько евреев набрать? Да, Ефим Наумович, вы слышали? Глузман собирается уезжать!

– Не может быть!

– Его уже исключили из партии!

– А кто примет кафедру?

– Не знаю. Похилько, наверное.

– Похилько толковый, – кивнул старик. – Я у них читал в тридцать девятом химию твердого тела.

Мужчина помолчал. Он искал, как повернуть разговор в нужное русло. Наконец решился без подхода.

– У меня к вам просьба, Ефим Наумович. Я ищу по всему городу боржом. Это для Доры – единственное спасение. Может, у вас на складе есть? Мне бы хоть несколько бутылок!

– Никак не могу! – смутился старик. – Наверное, где-то держат для начальства, но мне не попадался.

– Божом! – удивилась Зина, не понимая, что у них за проблемы. – У мни на дом пыцальный махазын. Там повно божом!

Мужчина даже шапку столкнул на затылок от радости.

– Где это? Как туда ехать?!

– Надо сесты на дэвятку – тхамвай. Ехать долго. Пока будэ будкы...

– Знаешь что, – сообразил мужчина, – давай-ка я с тобой подъеду, еще должно быть открыто.

Зина согласно повела головой и плечами. Она на глазах расцветала от чувства собственной значимости и очень сердилась на Фиркиного старика, который их задерживал, хотел похвастать детьми, а дети все не ехали со своей музыки. И когда они, наконец, вышли из подкатившего трамвая, Зина еле удержалась, чтобы их не отругать.

– Знакомьтесь, дети, это Михаил Маркович, мой бывший ученик.

Михаил Маркович потрепал парня по плечу, а девочку с беспородным, будто из сырого теста вылепленным лицом назвал красавицей. Он видел, что и для старика, и для детей это явно значительное событие, и ему почему-то стало стыдно. Вспомнил старика на кафедре, его тихий изящный юмор, вспомнил трех девочек, заглядывающих в отцовский кабинет: головка над головкой, зеленые глазки, обведенные угольными дужками ресниц... Ужасная трагедия! Главное – у этих такие же глаза, но какая громадная разница! То были дети профессора, а эти – дети грузчика... Хорошо хоть нормальные получились!

Михаил Маркович поспешил распрощаться, поскорее уйти из тягостной для него, чужой жизни. Но жизнь эта двинулась за ним следом, сопровождая в виде задастой коротышки, ковыляющей в стеганых валенках. Ему вдруг пришло в голову, что это сестра его бывшего учителя, а он с ней так... фамильярно... Может, у них в семье – наследственное заболевание, а горе было для Ефима Наумовича только толчком?

Михаил Маркович как можно деликатнее подсадил Зину в трамвай и, поколебавшись, все же опустился рядом с ней на свободное сидение.

– Вы случайно не родственница Ефиму Наумовичу?

– Не, – тут же подхватила Зина светский тон. – Мни папа был хлавный начанык. Мни вси ходычы побилы. На война.

– У Ефима Наумовича тоже вся семья погибла.

– Мни хуже побилы! Мни немцы побилы. А ему побилы бомба. Тоже похано. Пхавда?

Зина с большим интересом наблюдала за тем, как видный мужчина в большой шапке берет ей билет. На мгновение примерещилось прош- лое. Почудилось, будто сейчас он сделает ей знак глазами и куда- то поведет, но она не ощутила ни трепета, ни нетерпения. Тело ее молчало, и Зина уважительно прислушивалась к этой тишине.

Он больше не заговаривал с ней. Зина видела, как женщина, стоящая в проходе, удивленно поглядывает в их сторону. С перед- него сидения прямо в лицо Зине смотрела маленькая усталая девоч- ка. Зина выставила губы биноклем и пфукнула. Девочка показала на секунду редкие зубки, Михаил Маркович утер щеку...

Зина порылась в своем узле и освободила оттуда алычовое ожерелье Фани Лазаревны.

– На. Бэxy.

Девочка протянула через отцовское плечо влажную ручку и, стесняясь, потащила ожерелье к себе.

– Хай гхаеться! – подмигнула Зина Михаилу Марковичу.

Михаил Маркович смотрел в окно. Было уже совсем темно. Он боялся, как бы Зина не пропустила свою будку, заигрывая с чужим ребенком. Жалел, что не додумался позвонить жене. Кто же знал, что придется тащиться в такую даль! Но это естественно: в центре боржом не простоял бы на прилавке и пяти минут.

– Нам еще долго?

– Не-е, – обрадовала Зина. – Он – бачиш? Уже видно будкы.

Впереди, одиноко пропадая в чернильной тьме, несколько раз обведенная серебряными кругами рельсов, светилась диспетчерская будка.

– Там хоть много его было? – беспокоился Михаил Маркович, пока трамвай аккуратно объезжал будку по самому широкому кругу.

– Полно! – беспечно махнула рукой Зина. – Там полно сякий божом! Мыгоходски, бэхэзовски...

– Зачем мне миргородская? – так и взвился Михаил Маркович. – Мне боржом нужен!

– Мыгоходски, – терпеливо наставила его Зина, – хэто тоже божом.

8.

Михаилу Марковичу было жаль потерянного времени, но как человек, стремящийся из любой ситуации извлечь пользу, он написал Зине очень подробную записку: адрес, номера трамваев и троллейбусов, названия остановок. Такая была толковая записка, что назавтра же Зина без труда добралась до новой квартиры Михаила Марковича, на другой конец света. Прохожие попадались как один уважительные, читали не торопясь, терпеливо объясняли, куда свернуть и где выйти. Зина была довольна, что изменила свои планы и не отправилась к Циле, тем более что Циля и не звала.

Жена Михаила Марковича приняла Зину с шумной радостью. Она не думала, что есть еще такие женщины, которые приходят в дом на целый день, – не то что студентки из бюро добрых услуг с отдельными квитанциями на мытье стекол и мытье рам. Правда, стекла и рамы Дора Борисовна вымыла сама, Зине не доверила: побоялась, что та выпадет из окна. Сама и занавеси повесила. А потому так и не узнала ничего о русской невестке. Зато она хорошо усвоила все, что касалось миргородского дома и мужа, испортившего Зину. Пол был очень грязный, весь линолеум затоптан глиной и заляпан чем-то белым, что снова и снова проявлялось, как только высыхала вода. И Зина с гневом выкручивала тряпку, с гневом повторяла:

– Хэто мни муж спохтыл! Я была чесны девушки!

В какой-то момент Доре Борисовне показалось, что от настойчивого ритма Зининой речи у нее начинает кружиться голова. Но что делать? Бок-то болел на самом деле и не давал нагнуться. Поэтому Доре Борисовне пришлось терпеть и не слишком высокое качество работы, и мечтательный ее ритм, и рассказы о какой-то Фане, у которой родился зверь с волосатой пипкой. Зина выгребала из-под ванны куски штукатурки и каждый раз совала полное ведро Доре Борисовне – полюбоваться.

– От! Смотхы! Я все делать по-хозяйски!

Дора Борисовна откликнулась чуть рассеянно и, чтобы не обидеть Зину, ссылалась на свой бок.

– Ха-а... – сочувствовала Зина. – Хэто надо хэзать хопэхаций! Хэтый духак Люсик не делать хопэхаций – и все. Пф-ф... А мни делать хопэхаций! Знаешь, шо мни было? Мни мучыны... – она подвигала ртом и бровями. – Понимаешь? Когда мни бачыв мучына, я становыся а хойт! И все! Вин уже знаешь! Ходыв за мни! А тэпэх мни хобылы хопэхаций – и все! Мни сэ хавно! Хон возле мни, мучына – а мни сэ хавно! Мни вин нэ надый!

Этот монолог, как всегда у Зины, сопровождал стирку.

К середине дня Дора Борисовна уже довольно много знала о Зининой жизни. Пыталась даже кое-что уточнить. Куда, например, делся муж, жив ли. Были ли у Зины материнские чувства к новорожденным детям. Зина не понимала ее сложных выражений, но, как могла, поддерживала беседу.

– Надо было одын хабоньк бхать с больница, ставыть соби!

Она и про глистов рассказала, потребовала для себя отдельную посуду. Дора Борисовна дала и села есть с Зиной за одним столом. Зине это очень польстило. Но вечером Дора Борисовна накрыла ей отдельно. Не выдержала. Она не была брезглива, но не выносила

громких проявлений человеческой физиологии. Зина же с большим воодушевлением относилась ко всякому звуку, производимому ее организмом, и обязательно его комментировала. Обкормленная супом, селедкой и голубцами, она дико икала, рыгала, урчала животом и еще призывала всех подивиться.

– Ы-ык! Ого! – и радостно искала свидетеля.

Михаил Маркович, рано возвратившийся с работы, очень серьезно поддерживал это ее восхищение. Каждый раз вздрагивал и разводил руками.

– Ну и Зина! Ну и реб Зина!

Зина стала семейной достопримечательностью Эппельбаумов в течение одного дня. В тот же день сложился и полный ритуал этих взаимоотношений. Михаил Маркович шутил, советовал Зине заниматься спортом, купить место в синагоге, как бы по забывчивости предлагал ей ветчину... Зина качала головой, призывая Дору Борисовну в свидетели чудачеств мужа, и подмигивала с ласковой снисходительностью: "От духнык!". Дора Борисовна делала вид, что мужнин юмор ей докучает, заводила к потолку воловьи глаза, пожимала монументальными плечами. Их сын, студент, наблюдал все это как бы извне, как бы в кино, улыбался, но в разговоры не вступал, за что Зина его очень уважала. Его письменный стол внушал ей трепет, она боялась коснуться без разрешения любой бумажки, даже если на этой бумажке лежали виноградные косточки или качан от яблока.

У Доры Борисовны не было заведено дорогие продукты покупать исключительно "для ребенка". Все, что имелось в холодильнике, раздавали домочадцам и гостям. Многое Зина попробовала впервые, например, сыр рокфор, брюссельскую капусту, хурму. По большей части все это ей не понравилось. От хурмы так просто чуть не умерла, кусок застрял у нее в пищеводе. Дора Борисовна хотела уже бежать за скорой помощью...

Однажды, после какого-то праздника, она угостила Зину бутербродом с красной икрой. Но не удивила ее. Зина ела икру у Фани Лазаревны, когда та была еще здорова и считала праздником каждое воскресенье. У Фани Лазаревны икринки лежали куда гуще.

Зато Дора Борисовна гораздо больше платила за работу. Когда она в день знакомства спросила Зину, сколько ей надо заплатить, Зина что-то вдруг смутилась, пролепетала: "Сколько даешь!" А Дора Борисовна дала десятку. Зина даже расстроилась. Так стало жалко, что только теперь она познакомилась с Дорой Борисовной! Сколько времени пропущено, сколько утеряно денег! И это при том, что окна хозяйка мыла сама. Последнее, правда, задевало Зину. Она уже не очень уверенно чувствовала себя, влезая на подоконник, но каждый раз ей казалось, что это случайность. Опытная Дора Борисовна считала, что у Зины начинается гипертония, и предупреждала об этом приятельниц, которым ее рекомендовала.

То был очень счастливый период в жизни Зины. Она чувствовала себя так, будто помолодела. Или вышла замуж в хорошую семью. Прошлое казалось поблекшим, а, может, и постыдным в чем-то. Фирка вечно придиралась, что стекла не блестят, Фрида торопила: "Быстро, быстро!" Да и все прочие хороши! Кто из них давал десятку за постирушку и вымытый унитаз?

Зина почти перестала ездить к старым клиентам. Разве что иногда, по субботам, в гости. Тянуло все же на старые места, хотелось знать новости. Новостей там было как-то больше. Выбралась даже к этой самой Циле, что забрала ее законное пальто.

Зина чуть не прошла мимо дома Фани Лазаревны: его переокрасили в зеленый свет, а возле парадного стояли незнакомые люди. Она побаивалась: вдруг и в квартире уже поселились чужие? Но протыканную дверь ей открыл Люсик. Пальто с чернобуркой висело на рогатой вешалке. Новое, будто никто его и не носил. Циля вышла ей навстречу и удивленно поприветствовала:

– А-а! Ты. Мы уже думали, что ты ушла в дом для престарелых.

– На шо мни дом постахэлый! – свысока огрызнулась Зина. – Мни есь бэхкныжка! Мни есь завтха хабота! Хай ходит на постахэлый дом, кому нэма бэхкныжка!

– Еще работаешь? – подняла желтеющую бровь Циля.

– А шо мни! – небрежно отпустила Зина, разглядывая с интересом Цилю табачную седину, платье, обвисшее на отощавшей фигуре, чернеющую пустоту буфетных полок, свободный угол кухни с продавленным квадратом линолеума на том месте, где стоял холодильник, печку, зачем-то раскуроченную под самым потолком.

Циля наложила в две тарелки картошку с луковой подливой и тефтелями. Одну придвинула Зине, другую, сердито, Люсику – и гаркнула:

– Ешь!

– Не хочу! – злобно огрызнулся Люсик и оскалил остатки желтых зубов. Из-под его пегих волос просвечивала розовая кожа.

Зина опустила глаза и стала аккуратно есть, не отводя взгляд от тарелки.

– Не хочешь – не жри, сволочь! Отец умрет – я дня здесь не останусь!

И Циля с третьей тарелкой ушла в спальню, к старику.

О том, что старик жив, Зина сразу догадалась. По запаху. Сквозь оставшуюся открытой дверь было слышно, как Циля усаживает его в постели.

– Будем кушать? Да, Исачек? Будем кушать! – повторяла она изменившимся голосом, как уговаривают грудного ребенка. – Открой рот, Исачек! Ну! Открой!

Люсик злорадно усмехнулся.

Тефтели были вкусные. Не хуже, чем у Доры Борисовны. Зина съела бы с удовольствием и порцию Люсика. Поймав себя на этом постыдном желании, она насупилась и отчитала его:

– Кусны тэхели! Надо йисты!

– Не хочу! Не надо мне ее еды! Я сам себе куплю, что захочу!

– Дэ тоби деньги бхать? Пэнций? – недоверчиво поинтересовалась Зина.

– Идем, покажу!

Он провел ее в ванную. Там воняло, как на заднем дворе водочного магазина. В воде откисали ветхие простыни. На полу горой были навалены бутылки.

– Пойду и сдам их – будут деньги! Ясно? Заняла тут все своими тряпками! А на кухне мыть не дает!

– И пхавыльно. Хоны гхазны.

– Ничего-ничего! – гнул свое Люсик. – Я ей покажу! Мама правильно говорила, что она меня обворует! Продала, гадина, новый холодильник! А деньги своему Гришке в Одессу отправила!

Он брезгливо отодвинул на одну сторону белье и в освободившемся месте стал мыть бутылки.

Зина побоялась, что Циля заподозрит ее в сочувствии такому непотребству, и поскорее ушла. Села на свое место ждать чай. Из ванной доносился плеск воды, из спальни – усталое нытье Циля.

– Исачек, проглоти! Ну! Глотни! Глотай, я тебе сказала!

Зине было скучно. Она взяла с подоконника гнутую ложечку. Покрутила ее в руках, сунула в карман, снова стала слушать Цилю.

– Исачек! Ну глотай же! У меня же столько дел! Пожалей меня, Исачек! Это же я, твоя Сицилия! Помнишь, Исачек, как ты купал нас в корыте? Ты же меня вырастил, Исачек! Ты же мне был братом, и отцом, и матерью, Исачек, что же ты теперь рвешь с меня куски?! Глотай, я говорю!

Зина вздохнула и вернула ложечку на место. Чаю решила не дожидаться. Натянула валенки, повязала косынку, платок.

Люсик приковылял на кухню, брякнул бутылками.

– Уходишь? Подожди меня. Вместе пойдем.

Зина кивнула. Он долго шнуровал свои гнилые, свороченные на стороны ботинки. Зине становилось жарко. И все скучнее слушать Цилю.

– Помнишь, как ты говорил, Исачек? "Будешь, будешь артисткой, Сицилия!" Ну! Глотни же!

Зина заглянула в спальню, чтобы попрощаться. Старик сидел к ней лицом и неподвижно смотрел прямо в глаза. Голые мертвые ноги ровно свисали с кровати, рубаха на груди была заляпана соусом. Циля легонько хлопывала его по втянутым щекам.

– Глотай, Исачек! Глотай! – и вдруг громко, так что Зина вздрогнула, заревела: – Когда же ты уже сдохнешь?! Когда ты меня освободишь?!

Люсик беззвучно хихикнул и одобрительно подмигнул старику. Он был уже в пальто, большом и замызганном, и в гаденькой ушанке.

– Бувай мни здохованьки! – сказала Зина в спину хозяйке, не дождавшись паузы.

– А-а, ты уже идешь, – обернулась Циля. – Ну, заходи, не пропадай больше. А ты, – закричала она вслед уходящему Люсику, – чтоб не смел больше тащить в дом всякую заразу! Так и знай, я тебя на порог не пущу, если увижу у тебя бутылку!

– Пошла ты...

– Я тебе покажу "пошла ты"! Посмотри на себя, гадость ты такая! С тобой же противно рядом стоять! С тобой же даже Зине стыдно пройти по улице!

Люсик хлопнул дверью, будто заехал тетке по губам.

Зина спускалась за ним, польщенная Цилиными словами.

– Надо познать, дэ человек помычал! – сказала она наставительно. – Можно бхать пальто!

Люсик шарахнулся от нее в сторону. Не обиделся. Просто заметил бутылку под лестницей, в сомнительной луже. И, не протерев, сунул в карман.

– Хона побытая, – успела разглядеть Зина.

– Фирма знает свое дело! – весело засматривал Люсик. – Видишь? – показал он Зине два куска сургуча: коричневый и белый. – Я его растоплю и накапаю на горлышко. Эти две тоже были щербатые, – ткнул он пальцем в свою сетку, – а я их починил. Ты попробуй найди целую бутылку! Целую бутылку любой возьмет. А такие никто не подбирает. Потому что дураки!

Глаза у Люсика светились хитро и весело, как, бывало, когда-то у старика. Он тут же и сдал свои бутылки в угловом гастрономе и на все деньги купил конфет "Косолапый мишка". Такие всегда лежали на столе у Фани Лазаревны. В хрустальной вазочке.

– Бери, угощайся! Мы не жадные! – приговаривал Люсик, булькая шоколадной слюной.

Зина взяла одну, но не стала есть на улице, припрятала.

– Мни нэ любыш кофэты. Я будэш шас ходыть до Фихкэ. Будэш малойкэ давать.

– О! Здравсте! Вспомнила про Фирку! Они уже давно переехали на новую квартиру!

– Куды?

– На кудыкину гору! – расшутился Люсик. – Таким в центре квартиру не дают. Загнали на самый край Оболони!

Зина расстроилась. Оболонь находилась очень далеко. И добраться туда без метро было невозможно. Даже с запиской Михаила Марковича.

10.

Зина не очень-то доверяла Люсику и на всякий случай сходила к Фиркиному дому. Дом стоял пустой, чернели ряды выбитых окон. Зине стало так жалко, будто Фирка умерла со

всеми своими домочадцами. Да Зина и не видела особенной разницы. Шнедерка тоже переехала на Оболонь, и с того времени Зина ни разу не навещала ее. И не встречала никого, кто мог бы рассказать, жива она или диабет ее уже доконал. С Фаней и то выходило лучше: знаешь, что Фаня умерла – и не скучаешь по ней. Обходишься без Фани. Тем более, что вместо нее появилась Дора Борисовна, которая и сама здоровее Фани, и муж ее не плачет и не ходит по дому без штанов, и сын не чета придурковатому Люсику. А Фанины знакомые?! Торговались, всегда старались заплатить поменьше! И кормили хуже, не то что подружки Доры Борисовны. Те даже с собой давали. Зина отказывалась для вежливости, а они от этого становились еще щедрее и настойчивее, и глаза у них блестели.

Одна из них научила Зину ходить в парикмахерскую. А то Зина просто растерялась, когда шнедерка переехала на Оболонь. В парикмахерской Зине понравилось. Ее, как царицу, накрывали белой простыней, а волосы выметала уборщица. И спина потом не чесалась, как бывало после шнедеркиной стрижки.

А главное, они придумали совсем уже замечательную вещь: Зина теперь не должна была без конца навещать к ним, интересоваться, нет ли работы. Они узнали ее адрес и стали посылать письма. Насупленная от ответственности, Зина доставала такое письмо из своего почтового ящика, спускалась на улицу и ждала, пока мимо не пройдет человек, внушающий доверие. Зина останавливала его, и человек читал ей незамысловатое послание: имя хозяйки, день, когда Зина должна явиться, номера автобусов и названия остановок.

Правда, система эта имела и свою отрицательную сторону. Раньше случалось, что Зина заходила в дом, где никто не собирался делать уборку или стирать. Устраивалась на своем обычном месте, ревниво шарилась взглядом по углам, под шкафами. Намекала, что, дескать, ванна не очень блестит... Ну и находили для нее какую-нибудь работу. А нет – так тоже ничего. Посидишь, с людьми поговоришь. Как-то веселее жилось.

Подруги Доры Борисовны, хоть и платили больше, и давали с собой еду, но беседовать не любили, разговоры о Зининой сестре и свадьбе не поддерживали. Не могло быть и речи о том, чтобы в субботу заявиться к ним в гости. Зина и не ходила, понимала приличия. Да и интереса особого не было: ничего она не знала ни об их семьях, ни о родственниках. И родственниками Зины они не интересовались. Не то что Фаня. Или Ида Козеровская. Или Муся, которая жила возле мебельного магазина.

У подруг Доры Борисовны имелся и другой недостаток: они как-то не умирали. А Глузманша, хоть и уехала в Израиль, но пальто ее на Зине не сходилось.

11.

Поэтому-то Дора Борисовна и заговорила тогда о новом пальто.

– У тебя же есть сбережения, Зина. Давай я схожу с тобой. Купим недорогое приличное пальтишко.

– Хоно сэ хавно будэ хватяся!

– Потому же у тебя все и рвется, что старое. А новое ты будешь носить долго. И сидеть оно будет на тебе по-человечески.

– Мни нэ можно бхать деньги на бехкаса! Мни нэ будэ на стахось! Бехкаса – хэто мни на стахось!

– Ну что ты волнуешься! – подсадовала Дора Борисовна. – Никто же тебя не заставит снимать деньги, если ты сама не захочешь! Давай посмотрим, сколько там у тебя. Может, хватит и на старость, и на пальто.

Это рассуждение заинтересовало Зину. Ей очень не хотелось доставать книжку, но любопытство перевесило. До того самого момента она не додумалась у кого-нибудь спросить, хватает ли ее денег на старость.

Она вручила серую мятую сберкнижку Доре Борисовне и снова предупредила:

– Мни нэ можно бхать! Мни будэ мало на стахось!

Дора Борисовна заглянула в конец. Книжка была вся густо исписана, но последняя сумма... Да. На старость и на пальто ее точно не хватало. Дора Борисовна даже удивилась. Она предполагала обнаружить нечто гораздо более солидное. И обнаружила, пролистнув несколько страничек. Выходило, что месяцев пять назад Зина сняла со своего счета двенадцать тысяч пятьсот рублей.

– Ты летом брала с книжки деньги? – осторожно поинтересовалась Дора Борисовна.

– Не, – твердо отрезала Зина. – Мни е на жизнь пэнций. Мни двадцать хубли давал синагогы. Мни нэ надо бхать на бехкаса! Хэто мни всэ будэ на стахось!

– Ты подумай! – настаивала Дора Борисовна, – вспомни. Может, кто-нибудь ходил с тобой... Сестра, например.

– Мни ниhto нэ ходыл! – начала сердиться Зина. – Мни нэ надо сэстха! Я сам ходыш на бехкаса!

– Но как же ты заполняешь ордер?!

Зина усмехнулась тонкой треугольной улыбкой.

– Мни пхосыть кохоший человек. Хон мни пышэ бамажки. А кхучок мни делаешь сам. Мни нэ надо сэстха! Хона мни свадьбы нэ звал! Мни нэма такой сэстха! Мни кохоший человек делать охден!

Дора Борисовна кивнула и потянулась за валидолом.

Где-то ходят, бродят по свету сотни хороших людей, заполнявших Зине приходный ордер. И никто из них не помнит ее. Кроме одного – того, кто перевернул бумажку на красную сторону. Неизвестно, какую он носит шляпу, зато можно предположить, что живет он на Зининой даче и ездит на Зининой машине. Но если на даче ему неуютно, а машина приносит одни неприятности, или, хуже того, на Зинины деньги спился его единственный сын, как это случилось с куда менее виновной Цилей, – то пусть знает, что Зина здесь ни при чем. Пусть он на нее не сердится, пусть ее не винит: Зина его не проклинала. Она спросила у Доры Борисовны: "Ну, як? Хватит на стахось?" И Дора Борисовна ответила бесцветным голосом: "Хватит".

У Доры Борисовны было достаточно своих неприятностей. Сын женился на очень симпатичной девочке, а эта девочка ни с того, ни с сего надумала ехать в Америку. Дора Борисовна только что отремонтировала квартиру! Обложила югославским кафелем кухню и санузел! Но не могла же она отпустить ребенка в такую даль одного! А ко всему еще врачи настаивали на удалении желчного пузыря. До Зины ли тут? Другая и вовсе перестала бы с ней возиться. Толку от Зины уже не было никакого. Газовую плиту могла тереть полдня. И не умолкала ни на минуту. А главное – у нее было такое высокое давление, что каждый чувствовал себя преступником, пользуясь ее услугами. Когда она сгибалась – по-прежнему легко, как тряпичная кукла – лицо ее так буро краснело, что приходили мысли об инсульте. Никому не хотелось, чтобы эта катастрофа произошла именно в его доме.

Ничего такого Зина не понимала. Просто она видела, что работы становится все меньше, и с поздними угрызениями совести бросилась искать старых клиентов. Но и те куда-то подевались, а найденные не спешили ее приглашать.

Как-то раз бывшая соседка спросила у мамы, можно ли дать ей наш новый адрес. Мама обрадовалась: у сестры только что родился ребенок, накопилось множество домашних дел. Но, увидев Зину, она сразу поняла, что это уже не выход. Мама покормила ее. Послушала про Миргород, про то, что какая-то Дора Борисовна уехала в Америку и увезла с собой шубу.

– Ничехо! Сэ хавно хона мни большая. А шнэдэхка нэма, чтоб спхавыть.

– Тоже уехала? – посочувствовала мама.

– Да. На Болонь. Вси поехали, – библейским речитативом проговорила Зина. – Хто на Болонь, хто на Зхаиль. Нэма больше хабота. Надо вмыхать!

Мама дала ей пятерку. Зина не решалась взять, но мама сказала ей, что это – "ганэйдер". Вот дочь, мол, благополучно родила, так что Зине причитается...

Зина приняла новые правила игры. И даже несколько злоупотребляла этим. Являлась часто – и с порога спрашивала, не произошло ли у нас какое-нибудь радостное событие. Принимая деньги, слегка ломалась для благочиния, хотя мы давно уже знали, что она собирает милостыню возле синагоги.

Вскоре в наш район провели метро, и все автобусы перестали ездить к нам из центра. Примерно тогда же побирушкам запретили просить возле синагоги. Они перебрались на еврейское кладбище. Среди них видели и Зину. Говорили, что она очень сдала, но на жизнь ей хватает. "Ей богу, вы так не зарабатываете! Люди едут, деньги все равно пропадают – так почему же не подать несчастному?"

13.

К новой полосе везения Зина отнеслась с недоверием. Знала уже, что всякое везение кончается плохо. И терпеливо ждала краха.

Кладбище умирало на ее глазах. Редела воскресная толпа посетителей. Когда желтый автобус с черной полосой въезжал в ворота, попрошайки поднимали головы. Некоторые из них отправлялись смотреть на похороны, как на редкостное зрелище. И все выше поднималась летом трава, так что осиротевшие еврейские могилы пропадали в ней, как в Миргороде пропадали упавшие с деревьев яблоки. Пошли слухи, что на кладбище повадились хулиганы, где-то разбили памятник, у кого-то забрали сумку. Попрошаек становилось все меньше: то ли тоже поумирали, то ли ушли на другое место. Остановку третьего автобуса перенесли, и для того, чтобы попасть на кладбище, надо было переходить опасную дорогу. Зина присоединялась к пешеходам, ждущим у светофора, и ковыляла за ними, но усталые ноги будто вязли в болоте, она отставала, оказывалась одна меж двух потоков злобно рычащих автомобилей.

Пришлось перебраться на новое кладбище. Ездить туда было ненамного легче, но зато там всегда были люди. Автобусы ползли нетерпеливой вереницей вдоль главной аллеи, как желтые жуки. Женщины в черных платках проходили мимо Зины. С лейками, с лопатами, с пучками рассады в газетах. Зина даже запоминала некоторых в лицо. Были такие, что всегда подавали ей, и Зина радовалась их появлению. Она уже знала тонкости кладбищенской психологии. Вот две женщины познакомились, ездят вместе. Эти будут ходить каждую неделю. А та, заплаканная, скоро перестанет. Ну и пусть. Все равно она не подает. Зина не клянчила, полагала, что никто ей не обязан. Из всех местных нищих она одна была еврейка.

Особенно неуютно она чувствовала себя на пасху: было неловко принимать праздничные гостинцы, предназначенные не ей. Протягивая руку за подаянием, она опускала глаза и всегда была готова к тому, что ее пропустят. А то бы ей нравился этот праздник. Пестрая скорлупа в молоденькой травке... Зачерствевшая ванильная сдоба, утыканная коричневыми изюминами... Хотелось тут же и съесть ее на солнышке, на радостном весеннем воздухе. Но этого она никогда себе не позволяла, боялась кого-нибудь оскорбить. Смотрела с завистью, как другие побирушки, по-домашнему сидящие рядком на бортике газона, чистят и широко надкусывают яйца, отряхивают с груди желтые крошки. Они не благодарили за угощение – и Зина не благодарила. Хотя и находила это неприличным.

– На, милый, помяни раба божьего Николая.

Старик, сидевший на ступеньке слева, недовольно пробубнил:

– Лучше бы деньгами...

Зина проводила глазами его здоровенную руку с двумя яблоками и магазинным кексиком.

– Деньгами нельзя, милый. Деньги – не подаяние.

Зина не выдержала, посмотрела на женщину.

– Зина! – с радостным удивлением воскликнула женщина. – Ты что же, не узнаешь меня?

Зина поморгала загнутыми, как у ребенка, ресницами.

– Я же Юлия Павловна! Неужели не помнишь? У меня сын был, Коленька, красивый такой мальчик...

– Хон у двохнычкы стекло хазбывал.

– Ну да, ну да! – обрадовалась Юлия Павловна и заплакала. – Это я к нему хожу. Умер два года назад...

– Похано, – посочувствовала Зина.

– А все невестка! – продолжала Юлия Павловна. – Потатила его в Алжир! Разве ему можно было с его сердцем ехать в Алжир!

Зине захотелось как-то ее утешить.

– Клаха помныш? Шо в подвал был их квахтыха?

– Конечно, помню. Ее Марик с моим Коленькой вместе учились.

– Хон тоже умэх.

– Как – умер?!

– На Хамэхыка умэх. Мни Ханя казалы. Нэ надо было йихать на Хамэхыка!

– Когда же это случилось?

– Да-авно, – махнула рукой за спину Зина. – Делали хопэхаций! Сэ хавно помыхал! Жалко, пхавда?

– Ты еще ходишь к Ане?

Зина помотала головой. Нищие неодобрительно прислушивались к их разговору.

– Господи! Как же это никто не сообщил мне про Марика!

– Уси йихалы! – объяснила Зина. – На Болонь, на Зхайль. Нэма стахы люды.

– И то правда, – вздохнула Юлия Павловна.

Ей хотелось поговорить хоть с кем-нибудь о сыне. В новом доме, куда она вселилась после размена с невесткой, сына никто не знал. Никто не видел, какой он был красивый, вежливый, обаятельный. А эта случайно встреченная бедолага вспомнила историю с выбитым стеклом... Юлия Павловна была растрогана до слез. Да, размело людей по всему свету. Вот ей даже некому рассказать о Марике. Ужасно! Тоже умер! Просто какой-то проклятый дом! В каждой семье свое несчастье!

– А ты что здесь делаешь? – поинтересовалась Юлия Павловна.

– Я? – смутилась Зина. – Пхосто дыхаю. Надо ходить додому.

И Зина стала подниматься с земли.

– Пойдем вместе, – предложила Юлия Павловна.

Зина согласно кивнула.

– Пишлы. Походыхалы – и хваты дыхать!

По дороге к автобусу она все старалась придумать что-нибудь приятное Юлии Павловне, но на ходу ей думалось плохо. И только постояв на остановке, отдышавшись, она неожиданно вспомнила:

– Мни тоже помыхал хабоньк. Дочки.

– Правда? Я и не знала. Совсем маленькая, наверное?

– Да. Манеки, – покривила носом Зина. – Давно. Ще на Самхаканди!

– В эвакуации, – догадалась Юлия Павловна.

– Сэ хавно жалко! – наконец попала Зина в нужный тон. – Манеки тоже жалко. Сех жалко. Манеки, большие. Сех жалко!

Тут подъехал автобус, и в давке Зину и Юлию Павловну оттеснили друг от друга. Сначала ехали мимо кладбища, стройного, как игрушечный город. Потом пошел лес. Потом новые дома. Зина боялась потерять сумку и совсем забыла о своей спутнице. Юлия Павловна выбралась из автобуса первая, но не ушла, постояла, подождала Зину. Зина очень удивилась, снова встретив ее, замешкалась, не зная, надо ли опять поздороваться.

– Ого! Йихала додому, ходила ходыхать на кладбище. Пхосто так.

– Может, зайдем ко мне, попьем горячего чаю, – предложила Юлия Павловна и указала рукой через дорогу. – Вон мой дом.

Зина поколебалась, но все же пошла. Захотелось в чужой дом, в гости.

Здание было широкое и неприветливое. Ничего ему не полагалось знать – не только о тех, кто уже умер где-то, но и о тех, кто сейчас живет в его стенах.

– Квартира неважная, – рассказывала Юлия Павловна. – Главное – первый этаж. Но зато близко к кладбищу.

Зина согласно кивнула.

– Вот и моя дверь. – Юлия Павловна забрякала ключами. – Сейчас чайник поставим.

– Только мни сало нэ давай! – предупредила Зина строго.

– Какое там сало! – вздохнула Юлия Павловна. – Я уже пять лет сижу на овсянке да на гречке.

Они разделись. Юлия Павловна повесила свое пальто на вешалку, Зинино – на дверную ручку. На кухне было тепло, пахло чем-то приятным. Зина выбрала самую неказистую табуретку и села.

– Мни надо давать отдельный тахэлка, – предупредила она. – Мни хлысты!

– Глисты? Какие? У Коленки в детстве были аскариды.

– От таки о! – выставила Зина указательный палец. – Они мни лезалы с хота! Уэ-э...

– Когда это?

– А-а... Ще на Самхаканди.

– Ну-у! Да это ж сорок лет назад было! Может, у тебя их и нет давным-давно.

– Может, – пожала плечами Зина и лицом выразила сложную мысль: дескать, в этой все более непонятной жизни каждый раз обнаруживаешь, что чего-то у тебя уже нет.

Юлия Павловна подала ей овсянку в обыкновенной тарелке. Ложку ко рту Зина подносила степенно, но было видно, что она давно уже не ела горячего. Глаза ее жмурились и быстро соловели, она вся расплылась и осела на табуретке, как кучка тряпья.

Юлии Павловне стало жаль, что в доме нет чего-нибудь повкуснее. Она вспомнила, что где-то в кладовке стоит банка перекрученной с сахаром смородины, и пошла ее искать.

Зина слышала, как хозяйка роется, звенит в коридоре банками. Терпеливо ждала. Каша в тарелке кончилась и тихо урчала, постукивала в животе. Зина поводила головой по сторонам. На подоконнике она углядела блюдце с сухарями и завалывшейся среди них ядовиторозовой крашенкой. Зина ухватила крашенку, сунула ее себе в карман и сделала вид, что дремлет. Когда раздалась шаги Юлии Павловны, она передумала и потянулась вернуть крашенку на место.

– Ты хочешь яйцо? – поспешила сгладить неловкость Юлия Павловна. – Бери. Просто я не знала, можно ли тебе.

– Можно! – успокоила хозяйку Зина и, очень довольная, придвинула яйцо к себе. – Я будэш бхать додому!

– Пожалуйста! Вот, возьми сырок плавленный. – Зина одобрительно мигнула одним глазом. – Вот еще есть булочка. Съешь вечером с чаем.

Зина притянула к себе и булочку, не скрывая, однако, своего пренебрежения к ней.

– Видишь, как у меня, – стала оправдываться Юлия Павловна. – Ничего вкусного. Пенсия у меня неплохая, но зачем готовить для себя одной? Жду, когда Бог заберет меня к ним. Ты, может, помнишь, муж у меня утонул.

– Помныш! – закивала Зина, довольная гладким течением беседы. – У двохнычки тоже сын втопився!

– Верно! – оживилась Юлия Павловна. – А какой был хороший мальчик! Старшие совсем не такие. Пили. И Витя ее допился до цирроза, умер в прошлом году. Пусть он был пьяница – но тоже жалко. Матери какое горе! Я же говорю: проклятый дом! У Ивановой дочка от родов умерла. У Фогелей – попала в психбольницу. Вот еще Марик, оказывается...

– Исаак тоже помыхал! – прибавила довольная своей лептой Зина.

– Исаак Давидович умер! – всплеснула руками Юлия Павловна. – Когда же?

– Да-авно!

– А что же Циля Давидовна?

– Ехала назад на Дэсу, – показала себе за спину Зина. – Ничехо! Уси люды помыхать! Хэто кохошо, шо вин помыхать!

– И то правда, – согласилась Юлия Павловна. – Но все равно жалко. Какой весельчак был! Какой шутник! Помню, он на именины к нам приходил – развлекал людей лучше любого артиста. Песни, анекдоты! "Вы, – говорит, – Юлечка, готовите фаршированную рыбу лучше, чем любая еврейка!"

– Ты хыбу умиеш делать?

– И рыбу делала, и штрудель пекла, и медовик. Фаня Лазаревна научила. Вот когда, Зина, надо было ко мне приходиться!

Зина пригорюнилась. Стало жалко рыбы, жалко несъеденного когда-то печенья.

– Я до тэбэ нэ ходыл знаешь чехо? Бо хуськи с мни смиялыся.

– Это не русские, – огорчилась Юлия Павловна, – это дураки над тобой смеялись. Хороший человек не станет смеяться.

– Ничехо! – примирительно сощурилась Зина. – Ничехо, шо ты – хуська. Мни нэвэська тоже была знаешь хто? – она приготовилась ошеломить Юлию Павловну. – Мни нэвэська была – хуська! Халя!

Юлию Павловну это сообщение не поразило, но, понимая, что Зина чего-то ожидает от нее, она поинтересовалась:

– Ну и как? Хорошая была женщина?

– Ого! Хона мни бильше всех любыв! Хона мни на хуки бхав, когда мни був дэцька болес! Хона мни винкы хобыв! Хона мни давал такой яйцо! Много-много! Уси хазный цвет!

Зина радостно моргнула пушистыми седыми ресницами. Она стояла среди кухни, подетски выпятив живот и скосолапив коротенькие ножки. В левой руке – булка и сырок, в правой – розовая крашенка, как живая птичка.

– Я будэш бхать хэты яйцо, будэш спомнить Халя!

Юлии Павловне показалось, что где-то под морозилкой должно быть еще одно яйцо. Она поискала, но не нашла.

– Давай я будэш постихать занавески, – изрекла за ее спиной Зина, принявшая за грязь ржавые пятна собственной катаракты. – Мни будэш делать убохка на твой квахтыха!

– Что ты, Зина! – испугалась Юлия Павловна. – Ты больной человек! Куда тебе работать! Пора уже отдохнуть!

– Мни будэш дыхать, когда мни будэ стахось! Хаботать надо!

Она нагнулась над своей сумкой, стараясь задом заслонить ее от Юлии Павловны, но та успела заметить, что сумка доверху набита радужно сияющими крашенками и раздавленными ломтями паски.

Зина бережно покрыла синим платком память о русской невестке и стала одеваться: натянула черные суконные сапоги, выпрямилась, отдышалась, стянула кофту на животе большой английской булавкой, вынула из волос сползающий гребень и туго зачесалась ото лба к стриженному затылку, повязала беленькую косынку, покрыла ее дырявой оренбургской шалью Фани Лазаревны. Тяжко кряхтя и потев, влезла в тесное и длинное пальто Глузманши, застегнула сшитые из шнурков петли.

– Ну, бувайтэ мни здохованьки! – поклонилась она Юлии Павловне. Постояла на пороге и добавила величественно, как сообщают о начале новой жизни:

– Пиши мни пысьмо, я будэш пхыходыть!